

Ольга Никонова
Привет из Любима
Рассказ

1

В начале марта почтальон принёс открытку. Написано было неловкими дутыми буквами, с нажимом — так, что бумага глубоко процарапалась кое-где поверх бледных карандашных линеек.

А отправителем была баба Лиза из Любима. Над её открыткой тогда поохали — ну слава Богу, раз написала, значит, простила нас, дураков! — и сунули её куда-то в стол: там уже три ящика со всяким ненужным было.

За ужином решили, что надо будет к Лизавете съездить. Но договорились, что лучше летом, когда у них дороги подсохнут, чтоб машина не села, да и малины заодно побрать: баба Лиза ведь говорила, у них там ягодные места-то, так, может, на варенье наберём — ну, хоть бидона три-четыре...

Но летом в Любим не поехали — забыли. Да и вообще, раздумалось как-то. (А малину, как всегда, на Белинском базаре купили.) И на другой год не поехали, и ещё через один тоже.

Так прожилось незаметно, суетно несколько лет. Никто уже о бабе Лизе не вспоминал.

2

...Обыкновенная история: умерла в Закобякине старуха мать. Старшая сестра — моя бабушка — давным-давно, с конца войны, прописана была в городе, у мужа. Младшая же, Лизавета, так и жила в половине барака с краю Любима и, пока мать семь лет лежала парализованная, моталась к ней в это Закобякино.

После маминой смерти старшая, Надежда, о доме, может, и не думала. Но муж недобро подзуживал — деловая, мол, у тебя Лизка-то, всё себе ухватила, а ты ходи без порток!

И стала в бабушкиной душе копиться обида и злость на сестру. Помалу — как горошина к горошине. По правде, кое-какая обида была у неё и до того: больно уж видным рос сын у сестры, Пётр. (Таких кудрей ни у кого в нашем роду не было!) И вот постепенно, наверное, сестрина жизнь стала казаться

Ольга Никонова — родилась в Ярославле. Училась в мастерской прозы Бориса Евсеева, окончила Институт журналистики и литературного творчества в 2008 г., диплом — сборник рассказов «Живи хорошо!». Жила в Москве, Киеве, Словении. Пишет, путешествует, фотографирует, преподаёт русский язык иностранцам.

бабушке чуть не райской, хотя жила та в тесноте барака на отшибе Любима и работала на мужиковой работе в колхозе — брёвна ворочала. Завидовать-то было нечему.

Что домик материн был уже совсем кривой, дряхлый — Надежда не знала, не ездила же туда давно. Да ещё чёрт-те где — в Закобякине! Еле-еле его удалось Лизавете тогда продать, не ахти было охотников.

Вот так и поссорились.

Дважды потом Лизавета приезжала к сестре мириться. Старшая же не желала мира, пока Лизавета не отдаст половину денег за материн дом. Так постепенно науськала её муж, и она привыкла, что это справедливое требование.

Старшая, Надежда, всяко задевала, обижала Лизку — только так её и звали в нашей семье. Она приезжала из своего Любима почти под вечер, и было ясно, что непременно останется ночевать. Стелили ей на полу в прихожей: комнаты были карликовые и без свободного пола, кроме как по пустой, густо крашенной заплатке в прихожей и кухне. Но в квадратной кухне Лизавета по росту бы не поместилась: там негде и ноги вытянуть.

Бабушка находила самое ненужное, застиранное бельё — и сама, с видом горестным, оскорблённым, застилала Лизке его на матрасик: короткий, почти детский. Каждым движением бабушка словно давала сестре понять — вот как мы тут, Лизка, живём, а ты там в своём Любиме небось в масле катаешься на деньги-то с материнного дома!

3

Лизавета в масле не каталась. Остатки с закобякинского дома пропил курявый Пётр. Материно наследство было спущено за год. Лизавета положила, конечно, деньги на книжку, но Пётр то и дело требовал их и буянил, страшно грозя с похмелья матери. А мужа в тот же год придавило вагоном на станции: работал путеобходчиком. Так деньги и потекли... Осенью дочь замуж выдавала. Справили свадьбу, муж увёз Татьяну далеко, в Углич. Так и та тоже на мать обиделась — что плохое приданое ей дала, бедное.

Вот так и жили. Дочь годами не приезжала. Пётр спился, состарился. Голова у него рано поседела и от вина валилась набок, тряслась. Сама Лизавета по-прежнему работала в колхозе, хоть давно была на пенсии.

...Пока сестра ей стелила, Лизавета стояла рядом, у самой стены, словно вжимаясь в неё, зная, что лучше с сестрой не пререкаться: зацепится — понесёт! Бабушка же с подчёркнутым тщанием заворачивала под Лизаветин матрасик края трёпаной простыни и бросала подушку — конечно, самую тощую из многочисленных имевшихся в доме.

Потом она молча уходила, поджав белые губы и глядя в несуществующую в тесной квартирке даль, а Лизавета неловко, тяжело опускалась наконец на постель, как будто складываясь вниз со своей вышины, и ещё какое-то время пребывала в глубокой задумчивости, вытянув ноги к входной двери. Она дышала сухо и громко, словно сильно забегавшись, пока уж бабушка сердито не одёргивала её из комнаты: «Ну, дождёмся ли, пока уляжешься-то?» Тогда Лизавета еле-еле, с кряхтением подымалась к выключателю, словно разбуженная бабушкой от какого-то своего полуоцепенения, полусна, которого та не понимала и оттого сердилась, и уже в темноте принималась медленно, долго раздеваться — снимала кофты, юбки, скручивала бумажные чулки с длинных ног с большими, мужскими ступнями. Потом занавешивала плюшевую штору с бомбошками, отделив свою постель от комнаты, и наконец ложилась. Плюшевые бомбошки секунду-другую покачивались в наступившей тишине, чуть слышно шурша и задевая друг друга, потом всё стихало и наступала ночь.

4

Помириться не получалось. Лизавета, может, и сама уж не рада была, что закобьякинский домик продала. А велики разве были деньги? Но самое обидное — разошлись они совершенно ни на что: на вино Петру, Таньке на барахло разное перед свадьбой. А дети обиделись на Лизавету. Дочь — что мать плохую, небогатую свадьбу справила, а Пётр обиделся, что мать ему жизнь испортила: вот не давала бы на вино, сказал, так я, может, и женился бы на той учительше. А теперь уж всё, — ревел, — вся жизнь моя дурацкая пропита, кому я такой нужен!

Вот так кругом Лизавета оказалась виноватой.

...О чём она думала, лёжа в нашей прихожей на коротком ей матрасике, ёрзая сухими ступнями по крашеному холодному полу? Я слышала, как она вздыхала, и мне нравилось представлять, что это большая белая лошадь — как из мультика про ёжика и туман — очутилась у нас в прихожей и укладывается на ночлег, а как очутилась, не знаю, может, тоже приплыла по узкой реке, над которой клубы холодного ватного тумана. Казалось, баба Лиза знает что-то такое... тайное, что днём, в делах, забывает, а в темноте, ночью, вспоминает и радуется, пока никто не видит. Так и представлялось, что она прядает молочными ушами, как-то сумрачно светящимися в тесноте прихожей, и перебирает крепкими задними ногами, шевелит копытами. Мне страшно нравилось мечтать, что ночью баба Лиза — это белая большая лошадь. Только уже старая и очень ото всего уставшая. И я никому этого не говорила.

Лизавета, лёжа на матрасике, видно, долго не могла заснуть — всё что-то шуршала себе под нос, ворочалась, вздыхала отрывисто, как будто стараясь остановить вздох, загнать его назад, внутрь. Потом уж бабушка не выдерживала и окрикивала Лизавету — долго, мол, вертеться будешь, Лизка, мы тут натопались за день, спать хотим! — или начинал храпеть на своём диване дед и заглужал Лизаветино шебуршанье. А может, она тоже уже засыпала.

5

Первый раз Лизавета приехала, когда мне было четыре. Я смутно запомнила тот её приезд, больше по рассказам мамы.

В тот вечер мы с отцом собирались на охоту. Лизавета этому ужаснулась и стала отговаривать маму пускать меня. Мама удивлённо махнула рукой — да он всё время её таскает, тётъ Лиз, пускай едут! А Лизавета весь вечер обнимала меня горячими руками, словно прощаясь навсегда, жалела и сухим, жарким полущёпотом охала мне в лицо: «Осподи, куда девку-то отпускаешь? Заблудится там с им, потонет!» А я вырывалась из её хватких ладоней и хмурилась — боялась, как бы мама, наслушавшись эту бабу Лизу, и правда не оставила меня дома.

Когда рано утром собирались и выходили, перешагивали через неподвижно лежавшую Лизавету на её матрасике. Она лежала на боку, сложив под головой руки, прямо к двери растянув ноги с огромными ступнями в овечьих носках. Она не пошевелилась и не открыла глаза.

Выезжали мы задолго до рассвета, в прохладе. По росистым тропкам шли в гараж за лесопосадки, в ещё тихое с ночи Пятовское, потом ехали по совершенно пустому городу с сонно мигавшими светофорными глазами; там, за Волгой, петляли в полях, густо укрытых низкими пластами тумана, пока отец не определял наконец нужное место.

В то утро ехали специально на ток. Отец хотел показать мне, как токуют тетерева, и тыкал в них пальцем, больно прихватывая меня за шею, чтоб не отворачивалась, пока сидели в кустах. Он хотел, чтобы я тоже навсегда по-

любила его мокрые, холодные поля и охоту. (Здесь же Некрасов охотился, коз-з-звяк!) Но мне было не ахти интересно, да и Некрасова я не любила — я-то ездила на охоту ради картошки в котелке и ещё потому, что отец рассеянно позволял мне побродить босиком по берегу глубокого, узкого озера Яхробол и даже зайти в воду по колено. Вода в августе уже не летняя, мама бы ни за что в озеро не пустила.

Когда сидели в кустах, он постепенно свирепел, что я ёрзаю и шуршу ветками — видел, что мне скучно и скорее не терпится вылезти. Щёлкая меня по затылку сложенными пальцами, рассерженно дул в ухо: «Коз-з-звяк, никогда больше тебя не возьму!»

...Когда мы вернулись, Лизаветы уже не было. Матрасик был скручен кое-как, из него торчал угол простыни. А бабушка лежала на своей высоченной кровати, отвернувшись к узорчатому ковру во всю стену, и крупно вздрагивала. Дед молча сидел у раскрытого балкона, уставившись в пол. С улицы густо тянуло щедрым, растеплившимся днём, низкое солнце сделало стёкла мутными. В квартире застыла, как сваренный и почему-то забытый кисель, тишина. Стало ясно, что перемирие не состоялось.

6

Вторую попытку Лизавета сделала только через три года — видно, долго ей пришлось копить силы. Бабушка уже доживала свои последние месяцы в здоровом рассудке: вскорости после этого она заболеет страшной, разъедающей память болезнью. Она забудет себя, свою жизнь, забудет имена пропавших без вести братьев, перестанет нас узнавать, лишь на некоторые, очень редкие минуты вновь становясь самой собой. Она забудет даже троих своих детей — но не сестру Елизавету! За несколько дней до смерти она неожиданно придёт в себя, позовёт старшую дочь, у которой будет жить в то время, и твёрдо скажет: «Лизку на похороны чтоб не пускать! Телеграмму не давать, и смотрите у меня!»

Потом она снова впадёт в беспамятство и к вечеру умрёт.

Старшая дочь выполнит просьбу матери: Лизавета не узнает о смерти сестры и не приедет с ней проститься.

Так вот, вторая Лизаветина попытка, она же последняя...

Баба Лиза приехала к нам опять неожиданно — сославшись на какую-то приятельницу, которую якобы навещала здесь, в областной онкологии. Бабушка сразу поняла, что это враньё, и не постеснялась объявить об этом сестре, ужасно её растеряв. Однако встретила она на этот раз Лизку с добром, даже ласково.

Они сидели вдвоём на дедушкином диване и болтали, смеялись. Все мы обрадовались, ходили чуть не на цыпочках, боясь спугнуть наступающий мир и боясь поверить ему. Сёстры же вспоминали кого-то из Закобякино, из молодости, из далёкого прошлого. Про какую-то пожарную каланчу в центре села всё говорили, про богатый купчин дом чей-то, в коллективизацию сожжённый, но о материном домике — ни-ни, ни полслова!

Мы слышали, как Лизавета уже приглашает сестру и всех нас к себе в гости в Любим, а бабушка обещает обязательно приехать — на будущий год, Лизка, как потеплеет, жди!

Потом вдруг бабушка вспомнила, что надо ведь напоить сестру чаем, та же с дороги... Уж лучше бы они обошлись в этот раз вовсе без него!

Когда был заварен чай в высоких гранёных стаканах — иначе у нас почему-то не пили, — выяснилось, что подать-то к чаю нечего, кроме залежалого фруктового сахара. И тут Лизавета всплеснула своими длинными руками,

едва не опрокинув на клеёнку стакан, и вспомнила, что у неё же в сумке гостинец лежит, она нарочно для Олюшки везла! Но ничего, сказала, сейчас вот все вместе с чаем и съедим, и Олюшке на ужю штучка останется!

И принесла она из прихожей сетку, а из сетки, порывшись и суетливо отеснив множество загадочных мелких свёртков, вынула мятый-перемятый бумажный пакет. Потом ловко сыпанула из него мелкие кругляшки печенин на поданную бабушкой тарелку.

Первой печенину протянули мне как адресату гостинца. Я положила её в рот, хотела куснуть, и... мне стало ясно, что примирения не видать и на этот раз... Печенина была как каменная! Я так и застыла с ней в зубах, не зная, что теперь делать. Руки от подступившего густого страху мгновенно налились пустым весом и не слушались, как у набитого ватой зайца; я сидела, лишившись возможности движения, обречённо уткнулась в свой стакан и понемногу набирала чаю в рот, держа кругляш печенины за щекой — может, ещё размочится? А тут и бабушка взяла печенинку и едва, конечно, не сломала об неё вставной клык.

...И началось ужасное: как будто наплыло оно откуда-то из темноты, где только и дожидалось подходящей минуты, и вот — полезло вовсю! Ну как будто чёрт насовал это печенье в бумажный пакет! Лучше бы Лизавета совсем без гостинца приехала, поели бы мы и фруктового сахара.

Это ужасное помнится мне как-то растянуто: как если бы бабушка и Лизавета были актёрами и по команде, очень послушно стали двигаться в сто раз медленнее.

А было так. Бабушка кинула всё печенье вместе с тарелкой прямо сестре в лицо, оно у той мученически перекопилось, вытянулось, отчего она ещё больше стала походить на лошадь, и на какую-то секунду мне даже показалось, что она вот-вот запрокинет в истерике голову да и заржёт, застучит передними копытами по клеёнке. Какой-то душный жёлтый туман обволок меня, и сделалось ясно — вот только что, сию секунду случилось то, после чего невозможен будет никакой мир, и совсем ничего невозможно. Какая-то безымянная тьма — нет, тьма с такими страшными именами, что их не назовёшь! — вылезла из того бумажного пакетика, хранящего ещё крошки сахара, когда-то в нём бывшего, и тьма эта расплывалась по кухне, заставляя теперь делать бабушку невообразимое и говорить сестре чертовские слова.

Все мы окоченели на своих табуретах перед наполненными горячим чаем стаканами, окоченели и знали, что вот-вот грянет уж настоящая буря, которую нипочём не удержишь.

Я запомнила ту страшную сцену беззвучной. Может, у меня тогда со страху и правда временно отняло слух? Я отчётливо помню закат, солнце садилось за тополя, я помню себя рядом с растерянной, перепуганной Лизаветой, по лицу и лиловой кофточке у которой осыпается печенье, а на коленях лежит тарелка, а сбоку бабушка стоит, загородив собой вдруг целый космос, весь свет из окна — такой огромной она запомнилась мне в своей злобе! — машет руками, как ветряная мельница в ураган, задевая Лизаветины волосы, и вдруг хватает со стола смятый бумажный пакет и сильно, резко начинает снова и снова тыкать им прямо сестре в морщинистое лицо, в глаза, в разинутый рот, держа ту другой рукой за седой пучок на затылке. А Лизавета сидит, не отворачиваясь, только зажмурилась и вцепилась тёмными пальцами что есть силы в края столешницы, сминая клеёнку.

Вдруг как буран возник в кухне отец, схватил меня за руку и поволок к дверям, и мы с ним фантастически быстро очутились в коридоре, а в другую секунду уже на лестнице, и прямо на ходу он умудрился виртуозно натянуть на меня колючую кофту, и тут уже бац! — я услышала звуки, как будто их снова включили тумблером где-то внутри моей головы: звон колотящейся об пол посуды, грохот табурета и крики бабушки: «Да как ты смеешь, жаба любимская, ей свою дрянь чёрствую совать?»

Отец не хотел, чтоб я такое слышала, и торопливо тянул вниз, на улицу, а я после этой «жабы любимской» не могла переставлять ноги, они опять ослабели — как у ватного зайца из кладовки, — и я как будто плыла, волшебным образом скользила по ступеням, как по натянутой верёвке. Внезапно, перед последним пролётом, эта невидимая верёвка куда-то ухнула и скольжение прекратилось — я на повороте со всего маху врезалась коленкой в перила и только тогда, очнувшись, на весь подъезд заревела.

...И всё-таки я слышала, пока отец тащил меня вниз, как кричала бабушка Лизавете: «На гостинец ребёнку рубль пожалела, а прожрала целый материн дом! Всё прожрала! Да чтоб имени твоего рядом с моим никогда не называли!» Я слушала, и мне не верилось, что этот чужой, чудовищный голос принадлежит всё-таки моей бабушке — ласковой, тихой, с которой по вечерам мы читали сказки про Полботинка и Моховую Бороду и часто гуляли в лесопосадках, тайком от деда уходили к речке за Пятовское, плели друг другу венки из одуванчиков и собирали в клетчатые сумки на зиму липовый цвет, который никогда не заваривали, потому что забывали мешочки в подкроватной тьме...

В моей памяти, признаюсь, так никогда и не соединились эти две бабушки.

С отцом тогда гуляли долго: до усталости, до жажды. Он как-то сумел занять, отвлечь меня. Увёл за линию, к гаражам, где мы бродили до самых сумерек и смотрели, как распустилась верба, какая стала мохнатенькая.

Когда вернулись домой, уже пришла с работы мама и что-то ожесточённо отскабливала между конфорок, не оборачиваясь к нам, спина её была хмурой, прямой. Лизаветы уже, конечно, не было. И словно никогда её здесь не бывало — даже крошки с полу были кем-то тщательно подметены. Отец быстро провёл меня, крепко держа за плечи и не давая оглядеться, в нашу комнату, но я скосила со всей силы глаза и заметила, что бабушка лежит на кровати прямо в тапках и смотрит в потолок.

7

Никогда мы больше не видели Лизавету. Она вернулась в свой Любим и ни разу больше не появилась в нашем доме. Она не писала, не слала открыток по праздникам и не звонила. Как она там жила, мы не знали.

Только однажды, когда бабушка уже заболела и стала всё забывать, я услышала, как она, сидя в кухне, тихонько сказала деду: «Написать, что ль, Лизке-то, узнать, как там старуха одна, жива ли, померла?» Дед в это время помещивал на плите овсяный кисель и только вздохнул — знал, что никто Лизке писать не станет. Может, уже и сам жалел, что когда-то подзуживал бабушку насчёт этого закобякинского дома, пропади он теперь пропадом!

И правда, Лизавете не написали. Да как-то и вспоминать о ней постепенно перестали.

И вот уж только перед самой смертью бабушка вдруг сестру вспомнила — но, увы, не прощением, а новым проклятьем. Позвала старшую дочь и строго, грозя жёлтым кривым пальцем, наказала: «Чтобы Лизку ко мне на похороны не пускать!»

Вот так и умерла бабушка, не простив сестру за давнишнюю продажу маминого дома... Старшая дочь обещание выполнила в точности, и Лизавете никто о смерти сестры не сообщил. Да и не знал никто, жива ли она, — может, сама-то уж давно померла? А может, так и жила в своём Любиме — в половине барака недалеко от автобусной станции, на краю высокого и тёмного леса, где ухают по ночам старые филины.

Уже после сороковин моя мама, младшая из бабушкиных детей, не выдержала и отправила Лизавете письмо. Долго-долго, до самой весны — а бабушка умерла в сентябре, — не было от Лизаветы ответа, и мы уже думали, что нет и её в живых. Но жить, ходить по земле нам стало легче — мама своим письмом к Лизавете словно сняла с нас всех страшный груз, освободила от тяжести, от чудовищности своей и не своей вины.

8

И вот весной пришла от Лизаветы эта открытка.

Скупое написанная, нескладными круглыми буквами — почерк похож на бабушкин. Конверт, пока ездил в почтовых сумках, измялся, углы потёрлись и затемнились, запачкались. Над открыткой повздыхали и всё гладили её, отбирая друг у друга, водили пальцами по коротким сухим строчкам, переворачивали, как будто ища чего-то ещё там, на обороте, и, не находя, растерянно потирали праздничную картинку и снова читали, клоня головы, каждый уж для себя. Потом прочли вслух, словно освобождение.

Изредка мне, бывало, думалось потом — ну как она там одна? Помогают ли ей как-нибудь дети? Или всё так же злятся на мать за свою нескладную жизнь?

Мне представлялось, как старая, высокая Лизавета выходит по утрам во дворик и кормит своих цыплят, а сразу за её забором — лес, и в нём живут филины. Но когда я думала о ней спящей, мне по-прежнему виделась усталая белая лошадь...

И вот прошлым летом я тайком ото всех всё-таки съездила в Любим: надеялась, баба Лиза ещё жива, — всё-таки она была младше бабушки на целых десять лет.

А было это вот так — очень просто. Пролетал с тополиным пухом ещё один июнь, стояла душная, сухая погода. Я как-то шла мимо билетных касс и под табличкой с исчезнувшей последней буквой, так, что получилось — «Люби», купила билет на завтра. Говорить никому не хотелось. Дома переписала с измятой Лизаветиной открытки адрес, а наутро встала пораньше и пошла на автобус.

Отыскала в Любиме её дом, тот самый барак на окраине. Оказалось, в нём давно живут чужие люди, а Елизавету Петровну похоронили — четыре года назад. Сказали, что сын её Пётр живёт теперь далеко — на Заречной, но очень напутствовали: «Разыщите, не поленились, раз всё равно из такого далёка приехали!»

Я не знала и не помнила дядю Петра, даже из детства не выплыло ни единого, самого короткого воспоминания — а может, я и не видела его никогда? И всё же я пошла пешком через весь пыльный, сухой, пустынный Любим и удивлялась себе — зачем иду? И всё думалось — а не завернуть ли лучше на станцию, не уехать ли сразу? И вместе с тем невозможным казалось уехать из Любима вот так, сейчас, — после известия о давней Лизаветиной смерти в душе что-то потемнело и сжалось.

Я легко отыскала Заречную — маленькую улицу на другом краю Любима. Оттуда виднелся пригорок с голубой беседкой и лес. Дом дяди Петра оказался велик, ровен, в окошках пышно цвели герани. Из высокой будки на меня покосилась собака, но не залаяла. Я подёргала запёртую калитку. Никто не отозвался, не вышел. Тогда я крикнула: «Дядь Петя!» — и тут же показалось мне это грубо, чужо, и я замолчала.

Жалко теперь было уехать так, ничего не узнав. Я побродила рядом, кликнула соседку — та копалась возле, на огороде. Оказалось, что этот большой дом Пётр продал почти сразу после смерти матери, Лизаветы. Большую часть

пропил, а на жалкий остаток купил домик в конце той же Заречной, за неглубоким сырым оврагом, — поменьше и похуже. Но и тот домик скоро пропил и половину зимы жил по соседям, а то и на улице ночевал — как не замёрз! Тогда колхоз чудом выделил ему крохотный домишко неподалёку — на вид не то голубятня, не то сарай.

Соседка — оплывшая, неопрятная женщина в засаленном халате из фланели, — отвела меня, показала тот домик. Показав, дёрнула за руку и стыдливо, отведя в сторону взгляд, попросила «за добро» десятку и ушла.

Я притаилась почему-то — так невозможно, лишне показалось шуметь там, двигаться и говорить. И стало вдруг страшно всего: увиделось какое-то запредельное, вовсе не человеческое существование — чужого, совсем незнакомого мне дяди Петра. Но я почему-то и тогда не ушла, а по поросшему колючками и репьем, разломанному, гнилому крыльцу поднялась, хотела постучать в дверь, но она вдруг лязгнула и сама поплыла внутрь. И передо мной открылась, разверзлась чернота, гуща и непроглядность неизвестного, чужого бытия, густо шибануло в нос пылью и какой-то кислятиной, потом коротко ухнуло, стукнуло где-то в глубине.

...Я так и не вошла в дом. Не двигаясь с места — чтоб оставаться на живом, солнечном, — нагнулась вперёд и поймала дверь, осторожно прикрыла на прибитую гвоздём тряпочку — замка там никакого не было. Уходя, заглянула в окно, стараясь не шуметь и ничем не выдать себя. Внутри было серо, сумрачно. Кроме короткого матраса и каких-то чёрных, наваленных на него тряпок, в комнатке ничего не было. У другого окна, прямо под подоконником, валялись ещё обломки узких досок и жестяные банки из-под консервов. Мне сделалось так одиноко и жутко, будто это моя собственная, а не чья-то чужая жизнь проходит день за днём в этом убогом, страшном домике за оврагом. Будто это я, а не чужой, неизвестный мне Пётр ночует на этом маленьком, детском матрасе... *(Под утро я всегда мёрзла и сонно укрывалась чем было, тянула на себя гнилые тряпки... Я так редко выходила из тяжёлого, неживого сумрака комнаты на солнечное крыльцо, что всё оно сплошь поросло травками и мягко замшило с краёв...)*

Я едва не задохнулась от единственности, явственной воплощённости этого настоящего моего бытия, что, ничего вокруг не видя, оглушённая, пошла назад, за овраг, прочь от своего страшного домика!

Близко сидела у канавы лохматая девчонка, окликнула меня: «Тётя, тётя, не уходи, дяденька Петя скоро вернётся!» Я остановилась и, хоть поскорее тянуло уйти, всё же вернулась к девочке, присела рядом — та играла с грязным шнурком на ботинке, словно и не кричала мне только что, и теперь вовсе не замечала меня. Мне сделалось неловко перед нею, как перед взрослой и умной, и я спросила, боясь поймать девчонкин взгляд: «А давно ли Пётр-то ушёл?» Девочка, не отрываясь, тормоша и деря свой шнурок, ответила громко, зло: «Когда надо ушёл! Он стул понёс на станцию продавать!»

Я пошла прочь. Девочка молчала. Мне казалось, что она подняла голову и теперь зло глядит мне в спину, а может, уже встала из канавы и даже идёт за мной.

...Только за речкой, почти у самой станции, я оглянулась. Дорога позади была совершенно пуста, в нагретой пыли у деревянного мостика через ручей сидел с зажмуренными глазами бесхвостый белый кот. Домика Петра давно уже не было видно.

В автобусе я заняла место сзади и всю дорогу смотрела в окно, но не видела ничего, а только гнилое крыльцо с репьями, сумрачную комнату и внутри — маленький матрасик с тряпьем. Автобус ехал долго, с заходом в Середу, и солнце уже село, когда мы переехали Волгу. Когда я вернулась домой, была уже ночь.

Перед смертью, я помню, бабушка наказала, чтоб никогда их с сестрой имена даже рядом не называли. И правда, много лет не было рядом их красивых, родных имён. Но давно уже нет на земле обеих сестёр. И я нарушаю бабушкину волю — потому что верю: она и сама сейчас так хотела бы. Я упрямо пишу в храме на узких поминальных листках: «Надежда, Елизавета»; и, уходя, знаю, что на вечерней службе батюшка помянет сестёр, и опять их имена будут рядом, а тогда, может быть, и души, — кто знает?

...Прошлой осенью стол, где много лет лежали в трёх набитых ящиках открытки и письма, скопившиеся за жизнь, мама отнесла в комиссионку. Открытки потом всю зиму валялись в коробке на балконе. Там я отыскала среди прочих Лизаветину — ту самую, полученную в ответ на мамино письмо. Я забрала её и храню теперь у себя.

Всегда, вспоминая бабушку, я вспоминаю и Лизавету, и тогда с грустью достаю эту открытку из книжки, куда она у меня спрятана, и перечитываю её медленно, по слову — словно надеюсь уловить, поймать какой-то новый смысл, желая разглядеть, угадать там что-то ещё, чего Лизавета нам так и не написала. Но в открытке ничего нет, кроме очень простых и прямых слов, сказанных в ответ на весть о смерти сестры.

«Привет из Любима. Очень жаль, вот и моя очередь подходит, вот и жись такая. Плоховато моё здоровье, не очень. Дел много — печь топи, снег греби. Не привыкать, вся жись тяжела. Так что всё так, да и года уже, печаль. Ваша Лиза Кондакова».